

Ефим Гаер



# **СПРЯТАННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ**

# Ефим Гаер

## Спрятанные во времени

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=33392678](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=33392678)*

*ISBN 9785449083913*

### Аннотация

Что делать, если однажды утром ты просыпаешься, а твоя квартира превратилась в коммуналку тридцатых, где тебя ждут жена, милые соседи и коллеги по службе, о которых ты знать не знаешь? Если все это устроил городской сумасшедший, владеющий таинственным артефактом, а вас обоих ищут воины-монахи, оберегающие целостность всего мира? Еще это существо из другой вселенной, жаждущее прорваться... Короче, веселый кавардак с легким философским подтекстом. Читайте и наслаждайтесь!

# Содержание

Мудрость и большое предубеждение	5
Минус голубь	11
Мистика и сродство спиртов	14
Эндшпиль на траве	25
Кошмарное утро гражданина Гринева	41
День второй	54
Изотич	60
Конец ознакомительного фрагмента.	70

# Спрятанные во времени

## Ефим Гаер

© Ефим Гаер, 2018

ISBN 978-5-4490-8391-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



# Мудрость и большое предубеждение

В маленьком высокогорном саду было солнечно, прохладно и пусто. Крохотная лужайка с жесткой травой обрывалась полукругом над пропастью, дно которой скрывала дымка и тяжелые пухлятые облака, сползавшие с соседних вершин. В каменный фонарь забралась синица, выклеывая там что-то с важным видом префекта, нашедшего сор на своей веранде. А гораздо ниже в глубокой узкой долине крестьяне в травяных шляпах возделывали рисовые поля, напевая долгие унылые песни. В общем, абсолютная идиллия, если вы без ума от *всего такого*.

У пестреющей камнеломками стены сидел на траве огромный грузный мужчина с бычьей шеей и гладко обритой головой и прутиком чертил в цукубаи<sup>1</sup>. В водной ряби отражалась бледная весенняя синева. Сверху с выступа скалы доносилась игра кото<sup>2</sup> – невидимый музыкант настойчиво терзал струны, пытаясь попасть в мелодию.

Одетый в черную хламиду до пят, настолько плотную, что она казалась картонной, сидящий явно был не в восторге от концерта и морщился на особо звучные «дрыньк!», доле-

---

<sup>1</sup> Цукубаи – Сосуд для омовения в традиционном японском саду.

<sup>2</sup> Кото – японский щипковый музыкальный инструмент.

тавшие до него оттуда, где б уже быть облакам и небу, слившимся в вечном танце... Но вот же нет! – к воздушным стихиям прибился, вскарабкавшись на скалу, этот вредный старик Ясуда со страстью к музыке эпохи Кинсэй<sup>3</sup>, пытающийся бедный инструмент. Впрочем, сейчас еще ничего – когда он достанет флейту, станет совершенно невыносимо.

– Уверен, что настоятель специально фальшивит... красота несовершенства... ваби-саби... – произнес сонный голос за спиной великана. Невидимый собеседник неприлично громко зевнул и щелкнул суставами, потянувшись. – Сиятельный и мудрый Ясуда-сама... долгих лет ему жизни... и нам заодно того же... чудовищно настойчив в своих упражнениях.

– И разительно не соответствует имени<sup>4</sup>, – ворчливо продолжил великан, бросая веткой в синицу. Пичуга обиженно упорхнула. – Лучше бы ему спуститься и проповедовать на полях крестьянам – было бы больше толку. И гораздо спокойней.

– Нам, во всяком случае, не крестьянам... Кстати, как он вообще туда забрался? – спросил все тот же тягучий голос, имея в виду местоположение настоятеля – отвесный кусок скалы, куда не вела ни одна лестница. Снизу его не было видно. Только иногда из-за края скалы вниз летел огрызок яблока, репки или пара вишневых косточек – единственное, чем

---

<sup>3</sup> Эпоха Кинсэй – период японской истории с 1573 год по 1868 год.

<sup>4</sup> «Ясуда» на японском означает «спокойный + рисовое поле».

питался почтенный старец.

Великан лишь пожал плечами:

– У просветленных свои пути.

Не будем осуждать это непочтительное занудство: в последние месяцы настоятель буквально изводил паству музыкальными экзерсисами. Это началось неожиданно, после утренней медитации у ручья и, возможно, было как-то связано с карпом, с которым старик любил разговаривать. Особо новое увлечение Ясуда-сама<sup>5</sup> казалось неуместным Нишикори, знавшему того двенадцать жизней назад беспощадным и грубым воином, с одного удара разрубавшим противника пополам. Его музыкальные привычки тогда ограничивались пьяным ором за пиршественным столом (причем стол этот обычно принадлежал очередному только что убитому им же фермеру).

И вообще, не был тогда Ясуда-сама японцем, то есть не был ни «Ясуда», ни «сама», а звали его Кулак, и мать его чинила рыбакам сети в затерянной среди фьордов деревне Бюгде. Франки же прозвали Кулака «Жабой» – видимо, за огромный рот на плоской и лысой голове, иссеченной шрамами, практически лишенной ушей. Стоило ему явиться в людное место, мальчишки орала Кулаку вслед: «Crapaud! Crapaud! Grand crapaud!»<sup>6</sup>. Тот, сопя, поворачи-

---

<sup>5</sup> Сама – суффикс в японском языке, демонстрирующий максимально возможное уважение.

<sup>6</sup> Фр. – Жаба! Жаба! Огромная жаба!

вался всем телом, вопросительно глядя на товарищей: мол, что значит-то это их «крапу»? «Великий воин», – успокаивал его Нишикори, звавшийся в те времена Черным Бьорном. Кулак радостно улыбался и шлепал дальше под крики сопливых оборванцев. Умом и языками он не блистал, зато руками, широкими как ляжка теленка, валил деревья. Кажется, одно из них, рухнувшее на шалаш в осеннюю бурю, и убило его где-то в дельте Шпрее лет восемьсот назад – мирная, хотя и нелепая смерть для воина.

Между тем «дрыньки» на скале прекратились, сменившись... о, нет! – трелью японской флейты. Хуже мог быть только вокал, очередь которого, мало кто сомневался, вот-вот наступит. Старый как Луна настоятель не только непостижимым образом забирался в самые непролазные места, но еще таскал за собой мешок музыкальных инструментов и свитков с песнями, весивший чуть не тонну. Сорок шесть из семидесяти монахов, постоянно живущих в монастыре, твердо считали его наказанием за грехи прошлой жизни – воплощением собственной черной кармы, которое нужно принять смиренно.

Нишикори, словно флейта дала сигнал, необыкновенно легко поднялся, в три шага пересек садик и уставился вниз на застрявшие в кронах клочки тумана с видом крайнего раздражения, превращавшего его широкое лицо в маску недовольного божества.

Сзади раздался все тот же, процеженный сквозь зевоту го-

лос:

– Только не пытайся покончить с собой – твоя туша устроит землетрясение... и горы падут в долины, и реки потекут вспять.

Сквозь высеченную в камне арку в садик вошел мужчина лет тридцати, по наружности грек или итальянец – высокий, смуглый и черноглазый, с гладким скучающим лицом, одетый в войлочную куртку и штаны-дудочки. Худые ноги торчали из них, завершаясь в старых разношенных башмаках – возникали подозрения, уж не снял ли он их с какого-нибудь зазевавшегося дедули? Чтобы они не сваливались, ему приходилось перемещаться мелкими шаркающими шажками – как китайской принцессе, на которую он, прямо скажем, менее всего походил.

Черноглазый подошел к Нишикори и тоже посмотрел вниз, явно не впечатленный красотами простершийся там долины (весьма живописной, кстати). Его взгляд тоскливо проводил птицу, летевшую к лесу у подножия гор – туда, где, вестимо, было ее гнездо.

– Составляешь облачный атлас, великий во всех смыслах Нишикори-сама? Вон то, например, похоже на кита, страдающего запором; слева – на порванный барабан; а это – на трехногую белку в колпаке... Вообще, здесь холодно и совершенно нечем заняться. Сегодня же попрошу настоятеля отпустить меня в Кагосиму. Думаешь, если кинуть камнем, он высунется?

Трели, между тем, снова перешли в «дрыньки». Хриплый старческий голос затянул песню про морячка Сеиджи, ушедшего за крабами на Курилы.

– Мне больше нравится про красотку Ай, ставшую наложницей императора, – твердо заявил черноглазый. – Там, где она раздевается на балконе.

– Что-то происходит, Макото, – голос великана был под стать фигуре – низкий, рокочущий и густой. – Видел, как ведет себя черепаха?

– Многократно, – названный Макото всмотрелся в облака под ногами, будто пытаясь узреть там одну из них. – Обычно она ведет себя как переевший мытарь – лежит без движения в полусне и готова пожрать еще. Или теперь она ходит на задних лапах?

Он был шутником, но вовсе не был глупцом. Пока его язык молотил пустое, черные глаза не смеялись. Если уж Нишикори так озадачен, что-то действительно шло не так. А они (как некстати!) здесь именно на тот случай.

– Где? – мрачно спросил Макото.

Великан показал на Запад.

# Минус голубь

На площадях и в переулках Кремля было пустынно, свежо и тихо. Ни машин, ни беготни у парадных. Вождь пребывал на даче, и свита его расплзлась по норам, лишенная центра тяготения. Так и говорят: в Кремле без бояр – и в стране без смуты. (Врут, наверное, но не будем спорить...)

Москва просыпалась в воскресный день. Облака пробовали солнце на зуб, шляясь белобрысой гурьбой. Светило, распаляясь, гнало толстяков с небосклона. Река в бисере мелких волн тянулась под обветренными мостами, и пароходик катил по ней, оставляя белую строчку пены. Брякнули, как надо, куранты, отметив полдень.

Еще не растаял их зычный бой, как с пряничного парапета Теремного дворца, помнящего чуть не всех московских царей, вдруг исчез голубь. Враз, беззвучно, с куском старой добротной кладки, которой бы еще стоять и стоять – вплоть до светлого будущего России, которое когда-нибудь, верим, грянет.

Никто произошедшего не заметил, если не считать десятка других пернатых, способность строить выводы у которых весьма избирательна и касается, обычно, вещей не загадочнее кошки да корки хлеба, обойденной дворником в подворотне.

Стрелок, сидевший на Ивановой колокольне, был, конеч-

но, ни сном, ни духом, как и его коллеги с Водовозной, Троицкой, Боровицкой башен, которым до голубей, прямо скажем, как до самурайских портянок – тут бы не упустить диверсанта, ползущего вдоль стены с гранатой! А голуби что? – так, ерунда, дрянь – плодятся, гадят, гугукают. Нет в них ни политической перспективы, ни начальственной выправки. Разве, несут на лапке вражескую депешу... – но этим занимаются по другому ведомству.

Тем паче ничего не заметил подтянутый детина в фуражке с синим околышем, что под козырьком внизу подпирал лопатками дворцовую стену. Не будет при исполнении особист пересчитывать подлых голубей, презрев основное дело – стоять в неприметном месте в лаковой португее, охраняя покой имущих, дожидаясь очередного звания и обеда. На отдыхе, может, станет, а на посту, конечно, ни-ни.

Безымянная голубица, бывшая ближе всех к происшествию, подлетев, клюнула покрывшийся инеем кирпич, и тут же с кувыканьем повалилась на теплую кровельную жесть, где скончалась, раскинув крылья. В птичьих глазах синел лед.

Более ничего странного в тот день в Москве не произошло – даже на Краснопресненской, где во все века в редкий день не выходит какой-нибудь ерунды, и то все прошло спокойно. А вот за ее пределами, столь далекими, что не описать, нечто, чуждое разумению, не похожее на нас с вами как жук на крендель, испытало глубокое разочарование, обна-

ружив вместо желанного предмета сизогрудого идиота с его «курлы», тут же превратившегося в ледышку, да фунт кирпичного крошева (хотя и с кремлевских стен, что, конечно, всякому приятно иметь, да знать бы куда девать). Улов, как говорится, ни в коня, ни в красную армию – пустышка не по трудам, чудо не по надежде.

Гулкое ущелье под черным небом заполнил яростный долгий вой.

# Мистика и сродство спиртов

Теплым майским вечером в кабинете, устроенном буквой Г во втором этаже здания большого московского музея, М. сидел за письменным столом с пером в руке и мучительно старался прийти к какому-то выводу.

Простертый перед ним лист был наполовину исчерчен сложно пересекающимися линиями, которые, если пристально в них взглядеться, словно менялись непрерывно местами и проваливались куда-то, переплетаясь. Он шурился, тер ладонями лоб, но никак не мог сосредоточиться и поймать глазами конец одной из них – тонкой ровной дуги, шедшей вверх от одинокой точки в нижнем углу.

По стенам и потолку двигались тени, происхождение которых было не вполне ясным. Во всяком случае, освещение и обстановка комнаты не имели к ним ни малейшего отношения (как и початая бутылка коньяку, стоявшая на столе). М. то и дело нервически озирался, вжимая голову в плечи, и снова впивался взглядом в упрямую точку внизу листа.

Тени, очертания которых менялись как кляксы в парафиновой лампе, продолжали свое движение. Он, кажется, даже начал узнавать их. Вот эту, вытянутую, ползущую дирижаблем по потолку, он назвал Хрен Летящий. Рядом с ней, не отставая, вечно лепилась небольшая почти квадратная тень (смотрите, и теперь она здесь, чуть ниже), названная

Коробкой. Хрен Летящий едва приметно шипел, Коробка неприятно щелкала, словно кто-то ломал фотопленку в пальцах. То там, то тут на старую штукатурку выползали другие, шепчущие, бормочущие невнятно, непрерывно сменяющие друг друга. Но эти две, неразлучные, отчего-то присутствовали всегда.

Наконец М. справился с возникшей загвоздкой и в одно движение добавил пером округлую скобку в центре, формой напоминающую ухо. Лицо его осветилось, руки пришли в движение. Теперь линии быстро ложились на бумагу – одна, другая, третья – пока не заполнили свободную часть листа. Коробка отстала от своего спутника и зависла на потолке над головой М., игнорируя любые представления о законах оптики. Углы ее заострились, центр стал почти черным.

Когда дело было сделано, М. какое-то время еще сидел, отвалившись на спинку стула, с улыбкой глядя перед собой, затем потянулся, с жадностью глотнул из бутылки и убрал бумаги в ящик стола.

– Завтра с утра продолжу, – сказал он настольной лампе, бросив перо на стол.

Хрен Летящий, дрейфовавший снуло над книжным шкафом, вдруг остановился, будто что-то решив, отъехал к другой стене и медленно пополз вниз к чугунному радиатору, понукая свою спутницей. М. подмигнул ему как старому другу, встал и засобирался идти домой. Часы показали четверть девятого.

Тут как по команде вторая дверь, бывшая за углом, скрипнула, впуская решительные шаги и голос невидимого соседа – того, что занимал вторую, большую часть кабинета – с колонной и двумя окнами, против этой – с одной узкой как лафет прорезью, глядящей в густую крону, и без всяких колонн:

– С порога чувствую, как мне рады! Не убирай бутылку, лишенец! Амбре стоит от Пречистенки.

Дверь хлопнула, заерзали ящики стола, зашелестела бумага, кресло на колесиках отъехало в сторону, стукнувшись обо что-то.

– Ты рискуешь как гусар на бильярде! Если вдруг притащится Вскотский, аппетиты которого соответствуют фамилии, как ты знаешь... Да где она?.. А, вот... Тогда запасы мгновенно улетучатся. И еще по шее получаешь за пьянство. Причем ты, не он – от него, кто в два глотка приговорит твою жалкую заначку! Дай-ка я угадаю: «Абхазия» или «Арарат»?

Вслед за вопросом из-за угла явился невысокий опрятный человек с насмешливыми глазами на скуластом загорелом лице, одетый в новую пару цвета «дубовый лист» и лаковые модные туфли. В руке его лежал сверток.

– Здравствуйте, товарищ Нехитров, прошу присаживаться, – пригласил он сам себя к столу М., тут же усевшись и бахнув свертком.

Тени, лазавшие по стенам, теперь исчезли. Точнее, смени-

лись другими – нормальными, полагающимися каждому помещению, где горит лампа и имеются окна – смирными одомашненными теньями. Может, Нехитров, этот беспокойный сосед М. по трудовому жилищу, был существо мистическое, и они боялись его?..

«Мистическое существо», между тем, бесилось:

– А записка не так дурна, мон ами, хоть почата! Я же говорил, «Арарат». У меня, кстати, – он похлопал рукой по свертку, – совершенно случайно... редкое везение, скажу тебе... пить коньяк без закуски вредно для селезенки... есть кружок колбасы и ржаной хлеб. Но знай, пьянчуга, ты только что лишил мою многочисленную вечно голодную семью ужина. Кайся!

Иногда Нехитров был невозможен – этот его словесный понос! М. поморщился, но был слишком утомлен и доволен, чтобы ругаться. К тому же бутылка уже открыта... Да и на него вдруг нахлынуло чувство зверского голода, многократно усилившегося при слове «колбаса».

«Как собака Павлова на звонок», – грустно подумал он, воззвав к гордости, но та не откликнулась (эта дама умеет прятаться, когда надо). В то же время, помянув подопытную собаку, он искренне посочувствовал животному: его, по крайней мере, никто не бил током и не резал слюнные железы ради очередной статейки в журнале.

– Что подельываем на службе в такой час? Отчего не дома пьем-с, полуночник?

– Хватит болтать, Борь, – отмахнулся хозяин коньяка, не желая развивать тему. – Где твоя колбаса? Пока не увижу полкило «краковской» в свою пользу, ни капли не получишь нектару.

Нехитров живо развернул сверток, явив припасы.

– Угу, сойдет, подставляй...

Тот подставил стопку, затем в одно движение, пока М. не успел возразить, вырвал купу страниц из свежего альманаха, отложенного на тумбу «чтобы непременно прочесть», и расположил на них угощение: желанная «краковская», полбуханки ржаного хлеба и даже кубик сливочного масла, желтого как солнечный заяц. Запах снеди разнесся по кабинету. Что до испорченного варваром альманаха – кажется, Нехитров вообще ничего не читал. Во всяком случае, М., знавший его лет десять, ни разу не видел товарища читающим что-то, кроме афиш. Зато писал обильно и метко.

– Ножа правда нет, – посетовал Нехитров. – Кто-то, не поверишь, постоянно крадет мой инструмент из запертого стола. И, поскольку в кабинете нас только двое...

– Да-да, Борь... у меня твой нож... на, держи.

М. разлил ароматный, пахнувший спелой лозой коньяк.

– Ну, за нас с тобой и хрен с ними!

На минуту воцарилось сосредоточенное молчание. Коньяк благостно разлился по жилам.

– Знаешь, кстати, кто мне сегодня попался на глаза? – спросил улыбающийся Нехитров, опорожнивший враз свою

порцию, и театралью облокотился о стол, глядя в упор на М.. Не хватало только сигары и лежащего у ног дога для образа скучающего английского пэра.

– Ну?

– Слава Ковски! Помнишь Славика-ляха?

М. кивнул.

– Так теперь он, вслушайся: Станковский! Станковский! – повторил Нехитров по слогам, тыкая пальцем в стол. – Сволочь, даже визиткой меня одарил. Профессор, етит твою! Партийный, упитанный, все дела. «Воронок» под задом. Стан-ков-ский. А? Представляешь?! Жук белобрысый! Ну ты помнишь этого гада?

– Да помню я, помню... – тощий, вся рожа в угрях. Скользкий тип.

– Ну да! Морда в струпьях, ладошки потные. Крысеныш такой облезлый. У меня еще валенки как-то спер и толкнул в тот же день – кому? – свои-и-им! Идиотина, полный кретин!

«Уж ты б, дружище, никогда так не прокололся», – ядовито подумал М., глядя на жилистую шею Нехитрова с какой-то вампирской нежностью. Тот продолжил, упиваясь моментом:

– Ни в какую не сознавался при этом, хоть я сразу на него заподозрил. А толкнул, помнишь кому? Камскому Олегу! – соловьем заливал Нехитров, игнорируя факт того, что рассказывает историю ее участнику. – На валенках, я же не ду-

рак! – М. пожал плечами: «Мол, как скажешь, может, и не дурак...», – в тайном месте нашивочка: бэ-а-эн.

Он радостно рассмеялся, кусая хлеб.

– Олег тогда пришел к нам... ну ты помнишь?.. а Ковски этот как раз у нас. Я Олегу – вижу ведь, мои валенки: «Откель взял? Сними-ка, друже, что покажу...» – и нашивочку ему в нос! Тот смотрит, аж покраснел. Никого, знаешь, я с таким смаком в жизни не бил по роже, как этого прыщавого недомерка Ковски! Так вот, – погрустнел Нехитров, – крысеныш этот теперь шире нас с тобой вместе сложенных. Масляный, солидный, с телячьим черным портфелем. Чуть не въехал ему по старой памяти, аж зачесалось. Но... не въехал. Потому что нельзя теперь. Долей-ка мне до черты.

– Дела-дела, – вздохнул М. и закурил, пуская дым в книжный шкаф.

Тоскливо обозрел ряды книжонок в тусклых обложках, какие-то журналишки, папки с недописанными статьями, носатый бюстик философа, неумело содранный у эллинов артельным горе-ваятелем... Сплошь – ерунда! И сам себе показался таким же дымом никому не нужных курилен – со всеми своими переживаниями, делами важными и неважными, колотящимся в клетке сердцем. Вышел прочь – и нет никого, будто не было, никто тебя и не вспомнит. «Все мы – библиотечный сор, забытый на дальней полке, который никто не станет читать...».

– Ну, сор не сор... – отозвался Нехитров, прищурив глаза

на стопку. – Лично я бы еще поспорил. На философию потянуло? Это хорошо. Добрый коньяк.

М. не смутился, что, по-видимому, высказал мысль вслух, хотя раньше такого за собой не замечал даже подшофе, и протяжно мучительно зевнул.

«Все-то у него ладно выходит, у этого Бориса, сына Аркадия, – без завести подумал он про товарища. – Еще с общаги, когда ходили в обносках и жили впроголодь. Что Ковский? Тьфу! Валенки спереть – его потолок. Ну, вагон валянок, на крайняк. А Борька вечно откуда-нибудь достанет. Хоть чуть-чуть, но всегда с прибавкой. И ведь делился, пройдоха, с нами, увальнями! Пока Люсю не встретил – там уж стало, кому гостинцы носить. Люся через год понесла, Борька съехал, и стало совсем уныло...».

– Ты куда ловчее меня, – сказал М. вслух, разливая остатки коньяка. – Как-то все успеваешь? Дети, диссертация, Люська-красавица, квартира отдельная. А у меня вон – одна статейка, и та уже заржавела. Ботинки, срам сказать, не могу купить второй год, до магазина дойти. Возьмусь – брошу, возьмусь – брошу...

– Ну да, грех спорить, медуза ты косолапая, ничего с тебя толку нет. За что только Варенька тебя любит? Не то, что я! Хоть портрет пиши в Третьяковку! – отдал себе должное Нехитров, по-доброму поддержав товарища. – Ты не мельчи, не мельчи, не еврей на свадьбе – доливай мне все... вот-вот-вот... а то тебе хватит – по плодам, как говорится, не по кор-

ням. Совсем ты что-то растекся! Нализался на голодный желудок, не позвал товарища, и теперь справедливо упал в осадок. Ведь взрослый же человек! Какой из тебя пример комсомольцам и неорганизованной молодежи? Коньяк без закуси и стакана... один в пустом кабинете... Гнать тебя из Союза, брат! Гнать во Францию побираться на Пляс Пигаль. Глядя на тебя, юноши начнут в одиночку пить и писать стихи – вот к чему ведет твой буржуазный салонный формализм.

Трескотня Нехитрова действовала на М. успокаивающе. Если этот местный оракул бубнит по чем зря, значит все ништяк. Вот если он замолчит – тогда бей тревогу.

– Прав ты, прав, тысячу раз прав! – согласился М., сплюнул табачной крошкой в кулак и сунул пустую бутылку в плетеное ведро под столом. – Я вот никак не соберусь. Все – какая-то каша.

Он исподлобья оглядел кабинет, показавшийся ему вдруг чужим и враждебным как трещина в леднике.

– Все будто из картона, ненастоящее, дрянь какая-то. Бегаешь крысой по лабиринту, а чего бегаешь, сам не знаешь.

– Оно и есть ненастоящее – когито эрго сум<sup>7</sup>, как сказал хитрюга Декарт. Игра ума и не более. И ничего, кроме этого когито не существует. Зане, мир дан нам в ощущениях, приятель, так что не тушуйся, не ты один. Бабка-история видала и не таких чудачков. Так поднимем этот тост... не-не-

---

<sup>7</sup> Cogito, ergo sum (лат. – «Мыслю, следовательно, существую») – философское утверждение Рене Декарта.

не, обожди, сначала тост... – Нехитров вздел голову, будто провожал косяк журавлей. – За приятные мысли и ощущения! У тебя с Варенькой все в порядке? – быстро добавил он как бы невзначай, поддев ножом колбасы.

М. поперхнулся.

– Да нормально, вроде...

– Жидкое какое-то это твое «нормально». Детей вам надо.

И в Крым на месяц. То есть наоборот: в Крым, а детей там и сделаете.

– Да ладно, не развивай...

– Твоя жизнь скучна, мой унылый друг! Ты слишком умен и злоупотребляешь этим не в свою пользу. Ведь нельзя же, согласишься, поместить весь мир в одну голову? Поглупей чуть-чуть, моя тебе пропозиция. Даже если...

Тут ожил эбонитовый монстр с блестящим диском, спавший на широком столе Нехитрова. Воздух пронзил звонок.

– Что за хрень? Девять уже. Кто может звонить?

Аппарат все не унимался. В конце концов Нехитров не выдержал и пошел к нему. М. размялся с ним за компанию, пуская на ходу дым от очередной папиросы, хоть и обещал себе не курить.

Сняв трубку, Нехитров стоял с минуту, прижимая ее плечом, и только мычал неопределенно, выслушивая чью-то тираду. По лицу было видно, что разговор ему не по вкусу. Наконец он ответил: «Ясно...», – стукнул о рожки трубкой и вернулся к столу, увлекая товарища за собой.

– Скотина звонил, – директора музея угораздило носить фамилию Вскотский, каковая, говорили, ему очень кстати прилась. – Сказал, нужно быть в командировке. И тебе тоже. В Дальске каком-то, пес знает где он, что-то произошло в краеведческом, какая-то пропажа у них... По дате решат отдельно, там еще следствие работает.

– А мы причем? – удивился М.. – Мы что, сыскные собаки?

Нехитров пожал плечами.

– Кто его знает? Говорит, телеграмма, комиссия, все дела. Обрадовал на ночь глядя! Не люблю я этих поездок невесть куда. Потом еще рапорт пиши, который тебе же, помяни мое слово, выйдет боком. Если бы хоть в Ливадию или в Сочи, а то – Дальск!

Монстр снова заверещал. Нехитров было дернулся к аппарату, а затем отвернулся, махнув рукой, и сел обратно на стул:

– Все, ушли мы, баста!

Когда трезвон прекратиться, он с таинственным видом встал, запер дверь на ключ и добыл из своего шкафа бутылку водки, спрятанную за массивным фотоальбомом.

– Что там говорят про сродство спиртов? По мне так главное – градус!

# Эндшпиль на траве

Около двенадцати дня, когда солнце вколачивает тени отвесно в землю, у заброшенного павильона в пригороде Москвы на пустом ящике с печатью «Красного мыловара» сидел мужчина за сорок, с газетой на коленях и незажженной папиросой в руке, так и не дотянувшей до губ. Он дремал, прилонившись спиной к стене, наслаждаясь прохладой, запахами травы и своей одинокой незаметностью (и, между тем, не храпел, как вы изволили полагать).

Уже давно никто не проходил мимо и вообще местность казалась бы почти дикой, если бы ни далекие гудки паровозов, ползущих с товарняками на Астрахань, да жужжащий над лесом аэроплан, выделяющий «бочки» и «ранверсмань».

С восточной стороны павильон укрывали ветви древней раскидистой сосны, помнящей четырех самодержцев, экспрессом проскочившее Временное, толчею Великой, угар НЭПа, а ныне щедро дающей тень портрету коммунистического вождя, что следил за неметеной дорожкой с громоздкого облупившегося щита перед раскрошенным в щебенку крыльцом. Иной скажет, лучше бы починить крыльцо, чем расставлять всякие щиты у него, потворствуя запустению, но мы заметим, что фанерный лик по-своему благословлял местность и напоминал гражданам о долге перед страной,

чем уже был весьма полезен.

В свежей майской зелени непрерывно возилась живность, обрадованная теплом и тишиною пустого парка – не совсем парка даже, чего-то среднего между лесом и оставленной без глаза усадьбой. Место было удаленным, даже вездесущие дачники редко достигали его, а уж эти, шляясь туда-сюда, куда только не заходят и какого беспокойства не доставляют. (Те ж из них, что охотятся на ягоды и грибы, вовсе несносны и должны отправляться на «перековку».)

Мужчина между тем уже крепко спал. Лоб его, рассеченный бороздками бледной кожи, разгладился, дыхание стало ровным, и лицо приобрело какое-то детское выражение, какое бывает у московского школьника, впервые увидевшего верблюда.

Иногда из ветвей вылетала птица, садилась у его ног в расчете получить крошек. Птичьи надежды не оправдывались, и она летела со свистом прочь, отмечая человека как *бесполезного*. В отличие от крылатых, белки попрошайничали навязчиво, словно цыганские дети у вокзала, чувствуя, вероятно, генетическое родство с приматом. Крутились подле него рыжими мазками, а одна, совершенно обнаглев, взобралась по лацкану на плечо, ткнулась носом в щеку и уже оттуда, кинувшись вдоль стены, нырнула в гущу боярышника, готовая рассмеяться своей проказливости.

Человек не пошевелился. В эти минуты он видел весьма необычный сон – даже по меркам последних недель, ко-

гда, стоило закрыть глаза, голову наполняли странные видения, оставлявшие послевкусие отчаянной неразберихи. Как в Содоме и Гоморре перед самым концом. В нынешнем сне он, то ли *уже* почив, то ли, выразимся, *авансом* оказавшись у Райских Врат, обнаружил вокруг себя вовсе не твердь земную и не хрусталь небесный, а бескрайнюю водную стихию – океан льдисто-голубого оттенка в безветренное чистое утро.

Он сидел один в узкой лодке, упираясь босыми ногами в мокрое шершавое дно, и в руках держал не моссельпромовскую сигарку, а маленькую необыкновенно тяжелую книгу, открывать которую не хотелось. Переплет был липким и неприятным наощупь, будто весь в непросохшем клее, пахло от него кислым. В то же время ясным было сознание того, что книгу эту никак невозможно бросить и вообще выпустить из рук – от самой мысли об этом резал ужас, как от видения бездны под ногами, словно в этой треклятой книге состояла сущность всей его жизни. Но если о ней забыть и попусту не трепаться, то все как будто становилось на свое место – лодка скользила по воде, грудь дышала, солнце золотило волну... Сделав это открытие, он тут же притворился, что руки его пусты и нет в них никакой дряни. Ему сразу стало спокойнее.

Райские Врата (имелась полная уверенность, что это они, хотя, скажем честно, указателя он не видел) были отмечены двумя островерхими утесами, едва выступающими из вод, за которыми стояло радужное свечение. В нежной дымке

вдали что-то переливалось, но что именно, было не разглядеть. Оттуда же, летя над мерцающей синевой, доносилось эхо оркестровых тарелок – как на празднике дракона где-нибудь в Сычуани, только без хлопущек и едкого дыма, заставившего слезиться глаза – бывшего, возможно, одной из причин характерного прищура китайцев.

Метрах в десяти от невидимой черты лодка, шедшая к Раю сама собой, резко остановилась, едва не вывалив пассажира. Кое-как удержавшись, М. подобрал ноги и тревожно замер, провожая взглядом парящего над утесами пеликана, с легкостью преодолевшего барьер и скрывшегося в далеком сиянии. Одно крыло птицы было аспидно-черным. Не прошло минуты, как она пронеслась обратно – то ли была посыльной и пользовалась служебными привилегиями шастать туда-сюда, то ли бессловесным тварям был дан абонемент на сей счет – потому что тут же за пеликаном, вопреки всякому разумению, Врата преодолела собака неизвестной породы, летевшая, растопырив лапы. На незримой границе с ее шеи в воду упала веревка с камнем, обдав брызгами лодочного сидельца.

Затем М. проводил взглядом еще одну летающую собаку (без камня, но с обваренным боком, вмиг исцелившимся на границе) и стал терпеливо ждать, перебирая варианты, отчего он здесь, что может с ним дальше стать и не придется ли среди прочего также лететь по верху. Беда в том, что мысли лезли в голову разом, толкаясь и споря между собой. Ни

к какому выводу в такой сумятице прийти было невозможно. Зато время мелькало со сверхъестественной быстротой.

Стало жарко. Солнце подкатило к зениту. А единственное, что произошло, была стая серебристых селедок, умчавшихся по воздуху вскоре за кабысдохом, скинув в воды обрывок сети.

Обескураженный М. ерзал на узкой банке. Спина его затекла, но встать и даже поменять позу в шатком судне выдаться чреватым. Вода, хотя чистая и прозрачная, глубоко прорезанная лучами, не казалась очень уж дружелюбной, свалиться в нее совершенно не хотелось. Скрестив неудобно ноги, он задремал на своем насесте.

Минуло еще часа два, когда воды вспенились, суденышко закрутило, а вместо Святого Петра с золотым ключом, остергающего Предел, из пучины поднялось огромное подобное осьминогу чудовище и голосом, льющим отовсюду, без всяких предисловий возвестило: «НЕ ГОДЕН!».

Вырванный из сна М. заморгал и заозирался, пытаясь уловить суть. Однако других сообщений не последовало. Волны сошлись над «кракеном». Тут же лодку дернуло за корму и начало медленно относить назад – дальше и дальше от недостигнутого.

М. посмотрел за борт, силясь разобрать, что его несет, но не разглядел ничего, кроме неясной тени в толще воды, принадлежавшей какому-то медлительному гиганту, который, похоже, и волочил его прочь от Рая. От одной мысли,

что за штука властвует над его судьбой (да еще и лодка может перевернуться!) к горлу поднимался желудок.

М. скользнул на дно, вцепился в борта руками и зажмурился, стараясь думать о чем-нибудь ободряющем. На ум пришло видение кружки пива и сосисок в томате... Неприятно удивленный своей натурой, от которой ожидал большего, хотя бы отдаленно геройского, он отругал себя за ничтожность помыслов и постарался представить что-нибудь возвышенное – святого кисти Буонарроти<sup>8</sup> или замысловатую фигуру из геометрии... бескрайнее русское поле, в конце концов! Последнее у него получилось и даже с милой полуобнаженной крестьянкой, которая (вот же грех!) готовила на костре похлебку. Видимо, пища входила в любой, даже самый возвышенный сценарий его бытия.

Спустя какое-то время, определить которое невозможно, он обнаружил, что все также, скрючившись, лежит в лодке, но ни радуги, ни утесов уже не видно, а вокруг лишь серые холодные волны под вздувшимся низким небом, затканным облаками. Что ему делать и даже о чем в подобных обстоятельствах думать – неизвестно.

Тут он, на черте отчаяния, зацепился взглядом за лежащие вдоль бортов весла, которых, ей! – не было раньше в лодке, и возликовал: весла воплощали надежду, которой в своем безграничном милосердии огромный седой Бог, стоящий

---

<sup>8</sup> Микеланджело Буонарроти (1475 – 1564) – итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт, мыслитель.

надо всем, не обошел и его – негодного мизерного гребца, блуждающего в бескрайнем. Выбрав наугад направление, он лег на них и начал движение к горизонту, коленями сжав окаянный том, так и норовивший свалиться в воду...

М. открыл глаза. Папироса была раздавлена. Курить совершенно не хотелось; с отвращением он бросил ее в траву, смутно чувствуя мягкое движение под собой, словно еще качался на волнах в лодке. Реальность растекалась как чернильное пятно на рубашке, затирала обрывки сна, возвращая скитальца в подмосковную слепополуденную жару.

Жаль было терять такой сон, снова оказываясь здесь, вблизи оскомины набившего города, его тесноты, суеты, гамма, жизни, похожей на газетную полосу – тысячи штампованных букв, собранные в одну бессмысленную фразу под таким же никчемным заголовком. За восторгом дивного сновидения к сердцу подступил мрак, что бывает у нервического склада интеллигентов (к которым, уверен, не относится мой умный читатель, способный рационально смотреть на вещи).

И произошло это в тот момент, когда на дорожку справа явился человек, одетый в белую сорочку «а-ля граф Толстой», черные шаровары, стянутые шнурками у голых щиколоток, и цветные мягкие туфли со вздернутыми носками. Под мышкой у незнакомца красовалась шахматная доска, за спиной – пара складных парусиновых табуретов на ля-

ке, и лицо выражало такую скуку, какая бывает у только что осознавшего, что еще один день безвозвратно прожит, и прожит совершенно напрасно, и что исправить положение может только хорошо проведенный эндшпиль.

Незнакомец сравнялся с ящиком, на котором сидел М., пристально осмотрел предмет, затем взглянул на оседлавшего его человека и с надеждой в голосе быстро заговорил, выдавая до крайности увлеченную натуру, пересилить которую сам бы рад, да нет никакой возможности:

– Извините, что беспокою! Я не сумасшедший и не бандит! – выпалил он с энергией. – Меня зовут Александр! У меня тут дача неподалеку!

«Дачник... – неодобрительно хмыкнул М., желая куда-нибудь провалиться. – Только этого не хватало! Сейчас справиться, каким методом я подвязываю горох или еще какую-нибудь чушь вроде этого».

Пришелец между тем продолжил, и вовсе не про горох:

– Вы, случайно, в шахматы не играете? Мой товарищ, знаете, не приехал и я, выражаясь образно, завис между черными и белыми. Прямо напасть!

Он обескураженно улыбался, будто признавая, что все это звучит глупо, но что поделать.

М., философский настрой которого перебили, встал, механически принимая рукопожатие, и представился в ответ не своим именем, желая как можно скорее избавиться от незваного компаньона, но уже наверняка зная, что согла-

сится составить партию.

Внезапных знакомых он не любил, впрочем, как и давних. Однако этот престранный тип показался ему симпатичным. Черты его были мягки и в глубоких карих глазах не мерцало ничего отталкивающего. К тому же, кажется (к счастью, к счастью!), его совершенно не интересовал собеседник, а только сама игра. Ну, одет чуть странно, однако чисто. Правильный слог. Азартен. Возможно, он просто не умел по-другому занять себя, кроме как за доской, и за этим пришел сюда.

– Так что же вы на счет шахмат? – интересовался настыр-  
ный тип, наклонив по-собачьи голову. Уши его на свет каза-  
лись из розового фарфора, а весь образ необыкновенно ко-  
мичен.

– Вообще-то не увлекаюсь... так... – М. пожал плечами,  
сдерживая смешок.

Он действительно не часто играл. Иногда с Нехитровым, но с тем редко выходило довести партию – темперамент не позволял. Нехитров был из породы людей, способных переключаться каждую минуту на новое и страдавших, когда этого нового не происходило; после десяти ходов он отвлекался, потеряв интерес к игре, тут же звонил кому-нибудь и срочно бежал на встречу по какому-то неясному поводу (лучше – далеко за пределами музея).

– Отлично! Отлично! – обрадовался пришелец, немед-  
ленно посветлев лицом, словно это «так» было выразиени-

ем согласия. – Я вам скажу: и в более оживленных местах иной раз, кроме мамаш, гуляющих с детьми, никого не найти на партию. Хоть лопни! А эти дуры никогда не играют! В лучшем случае находится какой-нибудь старик, путающий слона с ферзем. А уж тут, в этой глуши, вообще... Если у вас, конечно, есть лишние полчаса?

– Увы, я никуда не спешу и буду играть вашу партию. Но не взывайте, если я перепутаю слона с ферзем или даже с пешкой. Шахматы – явно не мой конек, – шутливо сдался М., разводя руками.

– Вы не пожалеете, будет *весело!* – заверил его пришелец.

Слово «весело» да еще с восклицательным знаком плохо клеилось к шахматной игре, скорее уж к футболу или прыжкам в воду, но, глядя в загоревшиеся глаза гроссмейстера, приходилось согласиться, что *для кого как.*

Этот мятущийся шахматист, право, был колоритен. Через секунду он уже сидел на складном табурете напротив М.. На траву, заменяя стол, легла позавчерашняя «Правда».

– Стола я, разумеется, не ношу – слишком громоздкий. Но у меня он есть!

«Счастье-то какое!», – усмехнулся про себя М..

– Обычно в парках скамейки... а тут, в этой местности все как-то не приспособлено... Ну, так даже экзотичней! И я должен сразу сказать, – тут он посерьезнел, филином округлив глаза, – что играю я *профессионально.* Важно, чтобы вы знали *до* начала, а то нечестно будет. Ладно? Играем?

М. пожал плечами.

– Стало быть, вы не партнера, а жертву ищите в этих зарослях? Коварству шахматистов нет предела – пресса в кои-то веки сказала правду. Так и быть, играем! – согласился он, сам невольно развеселившись, хотя и пришел сюда, к павильону, именно для того, чтобы побыть одному, а не развлекаться случайным обществом.

– Может, все-таки... – завертел головой энтузиаст, – нам устроиться там, подальше? Здесь скоро солнечно будет, а жара очень отвлекает. Давайте? – указал он под деревья чуть одаль от павильона, где сходились две засыпанные листвой дорожки. – Уютное место и прохладнее.

Шахматный бивуак переместился на тенистую плешь под купой патлатых вязов. Соперники вновь расселись по табуретам.

– Слышал, на каком-то турнире один участник специально настоял на том, чтобы в зале было жарко натоплено – хотел досадить противнику.

– Сам он играл в другом?

– Чего не знаю, того не знаю.

– Если нет – не слишком умный ход с его стороны.

Словно в пику сказанному об уютности места, сзади, надрывая клаксон, на них едва не наскочил велосипедист в клетчатой куртке и очках-гогглах. Ищущие приюта шахматисты насилу успели отскочить в стороны и были награждены ругательством.

– Сволочь! – крикнул гроссмейстер, провожая нахала взглядом. Догнать его не было никакого шанса.

– Определенно, мерзавец, – согласился М., отряхивая штанину.

Гроссмейстер достал монету.

– Решка – на белые. Бросайте вы.

М. подбросил блестящий гривенник и, конечно, выиграл черные.

– Готов с вами поменяться.

– Не нужно, выйдет неспортивно, – отказался М. и принялся расставлять фигуры.

– Запись ведем самостоятельно. У вас бумага-карандаш есть?

– Нет. Можно ведь и без записи...

– Вот, возьмите, – протянул шахматист блокнотик, второй такой же положив себе на колено. – Ношу для подобных случаев – привычка. Знаете, собаковод идет в парк, чтобы выгулять питомца, влюбленные – походить под ручку, а любители гимнастики для ума – еще раз доказать, что способны натравить коня на слона.

Он замер, испытующе глядя на партнера, словно сказал какую-то шутку и теперь ожидал реакции – коей, к его досаде, не последовало. М. лишь смахнул сухой лист и пристроил в угол блестящую лаковую ладью. А когда фигуры были расставлены, прикрывая блокнот ладонью, начертил в нем один в другом два квадрата, соединив линиями вершины, и ме-

ланхолично уставился на шеренги «белых», ожидая первого хода.

– Помимо собаководов, влюбленных и шахматистов в парках бывают шулеры, карманники и, как мы теперь знаем, велосипедисты. В велогонке мы только что поучаствовали, а четвертое с пятым наказуемо. Остановимся, пожалуй, на шахматах. Ваш ход, синьоро!

Белая пешка шагнула на В4. Черная ответила симметрично.

Мы бы сказали, что все вокруг с подозрительнейшим видом затихло, сверкнула молния в чистом небе, а затем порывом ветра опрокинуло что-нибудь с громким «бах!» – например, рухнул у павильона тот самый неуклюжий плакат, до полусмерти испугав белок... Но реальность, если сравнить ее с механизмом, устроена гораздо практичней. В результате перфекционизма Творца, достигшего во всем идеала (кроме утконоса, пожалуй), ничего подобного не произошло. Если что-то и изменилось вокруг, то за пару дернувшихся листочков мы не в ответе.

Партия развивалась. Зигзагом шагали кони, подгоняемые обезумевшими ладьями; эмансипированные и могущественные «королевы» затевали перевороты, соблазняя обещаниями слонов; в авангарде рубились пешки; короли злокозненно подстрекали, притоптывая на клетке... Мироустройство, втиснутое в квадрат, кипело событиями и страстями.

Ровно через двадцать минут гроссмейстер с нескрывае-

мым удивлением констатировал мат белым. Какое-то время он сидел молча, потирая плечи ладонями, еще раз перечитал свои записи, а затем воскликнул, спугнув из ветвей дрозда:

– Вы не просто сыграли – вы *сыграли!*

М. примирительно поднял руки и тут, словно обнаружив что-то в копилке памяти, ткнул пальцем в лишенную белых доску:

– Дайте вспомнить... Стратегия игры заключается в накоплении мелких преимуществ. Чьи слова, не скажу.

– Вильгельм Стейниц<sup>9</sup>, – автоматически ответил гроссмейстер.

Тут он встал и чинно обратился к партнеру:

– Спасибо вам за великолепную партию, – в его глазах читалось недоумение. – Я, право, сделал несколько пометок для размышлений. Назвал бы вашу манеру нестандартной и при этом фантастически изящной. Будто... опрокинутый полный бокал с вином, из которого ни капли не пролилось. Никогда не имел чести о вас слышать, что странно – я знаю, кажется, всех серьезных шахматистов Союза и не только. Не возражаете, если мы обменяемся адресами? Буду счастлив с вами сыграть еще.

– Приношу извинения, но я определенно не игрок и этой случайной партии мне надолго хватит. Удачи вам и спасибо еще раз, – отвернувшись, М. торопливо вырвал лист из блок-

---

<sup>9</sup> Вильгельм Стейниц (1836 – 1900) – австрийский и американский шахматист, первый официальный чемпион мира по шахматам.

нота и отдал имущество владельцу. – Извините, правда... Это не из пренебрежения вами, просто я... не приспособлен для шахмат. Да и времени вечно нет.

– О, это горчайшее заблуждение! – гроссмейстер был явно разочарован. – Впрочем... что же... может быть, когда-то еще... Позвольте на прощанье вопрос: этот ваш метод записи... я невольно обратил внимание... схемы, которые вы чертили... Вы шифруете ходы? Зачем?

– Просто привычка. До свидания.

М. развернулся и быстро пошел прочь, ругая себя за чванство.

«К чему было так стараться? Устраивать этот цирк. Задело, что назвал себя профессионалом? Повел себя как мальчишка!» – ругал он себя, стараясь быстрее вырваться из аллеи.

Как на зло по пути ему начали попадаться следы людского чревоугодия и откровенного свинства – огрызки, бутылки, бумаги вокруг кострища. М. гадливо косился на них, чувствуя себя совсем дурно. Его едва не стошнило несколько раз. Наконец добежав до станции, взмокший, он сел на случайный поезд и скоро прибыл на Саратовский, ныне Павелецкий вокзал, кишмя кишаший народом.

Оказавшись в толпе, где всякий тащил что-то на спине или в руках и двигался с явной целью, толкаясь с остервенением, какое вызывает в пассажире железная дорога, М. едва сдержался, чтобы не взвыть. Какой-то мутноглазый вол-

жанин, сидящий у выхода на мешках, мешая всем и всеми же недовольный, нехорошо поглядел на него, когда он чуть не сорвался с лестницы, оступившись. С потолка забубнил динамик, приглашая штурмовать поезд на Кострому. Компания, устроившаяся на изгвазданном полу, живо поднялась, внимая его призыву, и двинула к назначенному перрону.

«Думают, поди, что я пьяный, – мелькнуло у него в голове. – Лучше бы, лучше бы... Больше нельзя так, покончим с этим!».

Он пронесся сквозь вестибюль, уворачиваясь от пассажиров как от чумных, выбежал на привокзальную площадь и буквально отбил извозчика у бедолаги в измятой шляпе, который уже вставал на подножку.

– Вдвое даю! – крикнул М. сутулому мужику, пристроенному судьбой к лошадиному крупу, и вскочил на теплое от солнца сиденье, отвернувшись от пунцового лица конкурента, пытавшегося восстановить справедливость.

Тот, имея вдвое лишнего весу, задохнулся, разгоняясь для крика, но извозчик энергично встряхнул вожжи, отчего тарантас покатился вслед за голенастой кобылой, оставляя возмущенного инженера из Уральска на пыльной площади искать счастья. Москва была недружественна ему, он сразу это понял, и твердо решил ни ногой в нее больше не соваться.

# Кошмарное утро гражданина Гринева

Илья проснулся от бешеного звона кастрюль, которые, судя по всему, тысяча чертей начищали в эту минуту костлявыми грешниками вперемешку с галькой. Древние как динозавр часы на тумбе показали на «6». И в такую рань мир уже сорвался с катушек!

– Что за?.. – простонал Илья, не окончив фразы, и болванчиком вскочил на постели, свесив худые ноги с кровати.

Неверной со сна рукой он нащупал очки на тумбе и, не сразу нацепив их, какое-то время провел в белесой кисельной мути, хорошо знакомой всякому страдающему близорукостью человеку.

Шум на кухне между тем не только не прекратился, но дополнился шаловливыми криками и возней, которые могли происходить только из одного источника – дети. И не просто дети, а тот их самый несносный сорт, что носятся по квартире, очертя голову, воображая себя в какой-то питерпеновской Неверландии. Плюс – женские визгливые голоса, то ли скандалящие меж собой, то ли поносящие за глаза кого-то, неслись через всю квартиру и гвоздями застревали в мозгу.

– О, боже... Тундра что ли приехала и врубил телик? – простонал Илья, шаря рукой в поисках сложенных с вечера

штанов.

По обыкновению, он спал совершенно голым, и так бы вышел сейчас из спальни, если бы не уверенность, что диковатая его постоялица приехала без предупреждения, и, хуже того, включив на полную какое-то дурацкое шоу с «ха-ха» за кадром, орудует на кухне с остервенением хмельного гунна. Хорошо еще, если одна, без кого-нибудь из своей научной своры – сплошь разбойники и чудовищные зануды со степенями.

«Если одна, то голым будет как раз», – мелькнула шальная мысль, но приличия есть приличия, и штаны Илья все-таки натянул.

Ворваться так вот, ни свет, ни заря в чужое жилище – вполне было в ее стиле. Дама не отличалась излишним тактом и пренебрегала в принципе этикетом, даже профессию выбрав себе такую, которая подчеркивала мимолетность и бренность всего условного – археологию. Какие еще приличия, я вас умоляю?! Неужели кто-то может спать до шести утра?! Да ладно... Вставайте, раз я пришла, песьи дети! Что ваше удобство на фоне вечности? Там тысячелетие, здесь пятьсот, сотня туда-сюда... Перстень древнего мертвеца на мизинце – как она его только носит? Бр-р-р! А мертвец-то, может, убил за него соседа и сам за недолгим сгинул где-нибудь в Римской Галлии, когда Берлин еще был деревней – за два тысячелетия до Люфтханза<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Люфтханза (нем. – Lufthansa) – немецкая компания-авиаперевозчик.

Чтобы успокоиться, Илья нетерпеливо досчитал до пяти, потом еще и еще раз. Без сомненья, это она; приехала из очередного похода ночью и решила обрадовать покладистого дружка утренним концертом. Отобрать ключ и точка. Может, хоть яичницу из сострадания приготовит? Дикарка... Но какая дикарка, други мои! Это же прелесть, что за дикарка!

– Тундра! – вскричал Илья, спотыкаясь. – С ума что ли сошла, в такую рань?! – его губы, помимо воли, расползались в улыбке.

Никто ему не ответил. Голоса на кухне, между тем, не затихали ни на секунду.

Тут в дверь что-то врезалось с характерным грохотом – какой-то идиот катался по коридору, а теперь велосипед вместе с седоком навернулся, протаранив вепрем старые доски. Из-под косяков на пол посыпалась штукатурка.

Раздался хриплый детский плач, как плачут только откормленные противные мальчишки с толстыми ногами и грязной шеей – ябеды и будущие мерзавцы.

– А-а-а!!! – возопил Илья, бросаясь к двери, сам едва не растянувшись на взгорбившемся за ночь паркете.

– И-и-э!!! – ответили ему снаружи, колотя ногами об пол.

– Чтоб тебя... А что с полом? – паркетные шашки дыбились под незнакомым половиком, похожим на половую тряпку. – Водой что ли залило ночью? Почему сухо тогда?

Когда Илья открыл дверь, то обнаружил подтверждение

худшим из своих опасений: на полу рядом с перевернутым трехколесным велосипедом валялся и орал карапуз лет пяти, необыкновенно крепкий для своих лет – маленькая копия Халка<sup>11</sup>, только что не зеленая. Далее в темном коридоре стояли его подельники – тощий подросток в каком-то рубище и вертлявая круглолицая девочка в сарафанчике со съехавшим набок жутким бантом. Другой она держала в руке как кистень (которым он, возможно, в ее представлении и являлся).

Неудачник-рейсер продолжал колотить ногами, девочка – радостно улыбаться. Абсолютно безжалостные существа эти девочки с бантами.

Подросток при виде Ильи отступил на шаг, глядя на него исподлобья, и простуженно просипел:

– Здравствуй, дядь Илья.

Все происходящее в сумме – утро, горбатый пол, голоса, и то, что совершенно незнакомый парень, неведомо как оказавшийся вдруг в квартире, назвал его по имени, совершенно выбило Гринева из колеи, вдоль которой, откровенно заметим, он и так не слишком уверенно продвигался. Жизнь предстала сплошным кошмаром, будто закулисье театра, из которого Илью, случайно туда попавшего, настойчиво толкали на сцену говорить роль, перепутав с кем-то из труппы.

---

<sup>11</sup> Халк – вымышленный супергерой, появляющийся в изданиях Marvel Comics.

Соображая, что со всем этим делать, он обошел вниманием ту секунду, в которую слева со стороны кухни явилась сухощавая высокая женщина в косынке и, гаркнув на детей «А ну!» – мгновенно очистила помещение, заставив всю банду опрорхнуть куда-то деться, забыв ненадежный транспорт. Женщину эту с грязным полотенцем в руках, тут же вернувшуюся обратно, как и атаковавших его детишек, Илья видел первые в жизни.

Творилось что-то необъяснимое.

Идею разобраться со всем этим немедленно он раздраженно отменил и даже замахал руками на кого-то невидимого, как бы сообщая ему: «Нет, нет и нет! Полный идиотизм! Не может такого быть! Все это – дурной сумасшедший сон. Надо же, с самого утра – и все сразу...».

– Нужна горячая ванна, – выдохнул Илья обреченно, направившись босиком к спасительной ореховой двери с одутловатым путти под лейкой, купленным год назад в Амстердаме... которая отчего-то предстала перед ним грязно-белой, облупленной и к тому же запертой изнутри.

Остатки сна окончательно слетели с него.

Ремонт, творившийся по частям, недели не прошло, как облагородил санузел и прихожую старинной квартиры, придав им черты опрятного четырехзвездочного отеля.

Илья ошарашенно осмотрелся: за одну ночь «евро-парадиз», исполненный бригадой молдаван, превратился в обшарпанный кошмар коммуналки. Запахи в квартире были

чужими. И сама прихожая выглядела чужой, до края запущенной, заваленной какими-то незнакомыми вещами, которые ему не принадлежали и не могли принадлежать в принципе – разве он, сам того не зная, сделался старьевщиком, пока спал.

В проволочной сетке над бурыми тушами пальто дремала длинноухая шапка. Брезентовый дождевик «друг вахтера» на вбитом в косяк гвозде. Рубильник с эбонитовой ручкой и витая проводка от него по стене. Всюду валялась дрянная обувь. Рядом с дверью на стене висел неизвестно откуда взявшийся плакат, изображавший слащавый усатый лик, обзирающий толпу взволнованных хлебопашцев. Последние, вцепившись в серпы, снопы и острые косы, с одобрения усатой головы-дирижабля норовили шагнуть с картона прямо в прихожую, чтобы увлечь Гринева с собой – в светлое будущее или еще куда-то, куда им приспичит быть. По лицам судя, спрашивать его отношения к вопросу они не собирались, а орудия труда в их руках легко превращались в оружие пролетариата. Серп, доложу я вам, очень убедительный аргумент в деле социального обустройства.

Илья помотал головой, не веря глазам своим. Точнее, не веря им десятый раз за минуту, прошедшую с его пробуждения.

– Какого?.. – начал было он.

Дверь ванной тут распахнулась, выпустив вместе с паром в прихожую лысого мужчину за пятьдесят в сахарной влаж-

ной майке и с каплями воды на ушах.

– Доброе утро, Илья Сергеевич! Доброе утро! – пропел купальщик, юркнув мимо Гринева, и скрылся в боковой комнате, которая еще вечером была его кабинетом.

За открывшейся на несколько секунд дверью мелькнул покрытый скатертью стол и угол кровати с горой подушек. Оттуда же слышалось приглушенное кудахтанье приемника, которому незнакомец решительно взялся подпевать в худшей манере доморощенных Карузо<sup>12</sup>, уверенных, что энтузиазм кроет отсутствие таланта как бык овцу.

Илья, как стоял, так застыл на месте, взывая к совести своих чувств, включая шестое, которое, как известно, обнаружено до сих пор только у дельфинов и беременных женщин. Реальность определенно шалила.

Квартира эта в доме на Мясницкой, принадлежавшая некогда мануфактурному инженеру Оскару Бенедиктовичу Штотцу, чем только не побывала – коммуналкой, приемной комиссара и жилконторой, переделана была трижды, но в итоге чудом осталась за потомками семьи Штотц. Теперь ею владел и распоряжался правнук благородной Марии Оскаровны – тридцатилетний Илья Гринева – не преуспевший программист-математик, живший со студенческих лет торговлей антиквариатом и случайными заработками. Нынче было его худшее утро, и насколько худшее, он сам еще

---

<sup>12</sup> Энрико Карузо (1873 – 1921) – великий итальянский оперный певец (тенор).

не знал в полной мере.

Позже, в минутах до жаркого майского полудня, после ухода камфарой пропахших врачей, он сидел, согнувшись, в мятой постели, обхватив колени руками, и смотрел на молодую миловидную женщину в ситцевом ципао, хлопочущую вокруг него. На тумбе блестели пузырьки, и она капала из них им обоим в стакан с водой.

Женщина эта, сбегав дважды звонить к соседям – уведомить начальство о невозможности явиться на службу в связи с внезапной болезнью мужа и вызвать карету «скорой», была не на шутку испугана. Суть заболевания от коллег она благоразумно умолчала, соврав про пищеварительную систему – кто не поверит, что вы отравились килькой? Но себя-то ведь не обманешь! С человеком явно что-то творилось. Первый ужасающий симптом состоял в том, что он отказывался кого-либо узнавать, в том числе ее – собственную жену, от которой требовал объяснить, кто она и почему находится на жилплощади. И вообще – психовал, ведя себя как безумный. Требовал какой-то «мобильник» и желал знать, куда со стены девали «новую плазму». Хуже того, не являлась ли ночью женщина – женщина! – восточной наружности с массивным кольцом на пальце?

Что ж это происходит, скажите, а?

Подкожная инъекция, впрочем, явно пошла ему на пользу. Это ее немного успокоило, однако поведение мужа, без сомнения любимого и еще вовсе не надоевшего, оставалось

пугающе ненормальным. Устроив погром в ванной и явившись по пояс голый в общую кухню, безумец обругал соседок Зинаиду Львовну и Морошку Кааповну, требуя от них немедленно убраться вон. «Прекратить бардак и убраться!» – так он и выразился, возопив с порога, будто укушенный.

Зинаида Львовна, минутой ранее покончившая с тестом для пирога, оторвалась от шинкования капусты, сплюнула в раковину окурков и сочувственно посмотрела на Вареньку:

– Эх, мужья, мужья... что творят...

Тут она, отмахнувшись от смущенной Вареньки, глубоко вдохнувшей, чтобы сказать, но еще не решившей, что именно на такое говорят, отколола невиданный пассаж – достала из буфета графин, стопку, и в один мах наполнила ее до краев, передав соседке:

– На вот, чтобы из твоих рук. Перегулял вчера, понесло умом. Пусть лечится, потом разберемся... А ты, – обратилась она к Илье, – не скандаль! Сейчас милицию позову, пятнашку отсанаторишь на шконке!

Тут гражданка Быстрова, как ни в чем не бывало, вернулась к недобитому кочану и продолжила крошить бессловесный овощ с видом опытного хирурга.

Ее весомая отповедь произвела чудодейственный эффект, подкрепленный немалых размеров стопкой, из которой Илья проглотил комком, задохнувшись на секунду от резкого вкуса водки. В желудке зажглись огни, а голову облепило ватой,

переключив мысли снаружи на богатый внутренний мир.

В этот момент безволия, подхваченный неведомой ему дамой (его супругой, как она утверждала), горемыка был препровожден в ванную, где она проследила за умыванием, а затем в комнату, в которой он проснулся сегодня утром – то есть в его собственную спальню, которую он теперь делил с этой дамой на неведомых основаниях, и которая (спальня) тоже неузнаваемо изменилась. Он понять не мог, как вообще не заметил этого сразу, в первый же миг после пробуждения? Мебель другая. Обоев нет. 3D нет. Люстра... люстра осталась та же.

Там, в спальне, к нему вдруг вернулась разговорчивость, и разговоры эти Вареньке чрезвычайно не понравились – потому что нес ее правоверный всякую чушь, о которой мы уже говорили. Еще требовал срочно позвонить какому-то Каляде, который, возможно, в курсе, что именно происходит. Грозился писать в полицию, подать в суд, уведомить президента и еще что-то, что она не запомнила. Клялся перед комодом, что ничего запрещенного не употреблял – ни вчера, ни когда-либо еще в жизни, даже в Амстердаме, где это можно. Метался, просил и плакал как сумасшедший.

Супруга испуганно соглашалась, понятия не имея, о чем он вообще толдычит. Хотела позвать милицию, но что-то ее остановило в мужнином взгляде. Теперь уже, вслед за решительной соседкой, она сама себя уверила, что он пострадал от горячки «после вчерашнего», хотя прекрасно знала – ни-

какого застолья не было: Ильюша гулял с ней в парке, после обеда посетил «Ленинку», а затем до темна сидел во дворе, чиня велосипедную цепь, и вернулся домой совершенно трезвый, хотя и поздно. И вообще не злоупотреблял, разве на чужой свадьбе.

Сердитая досада на дурака быстро сменилась страхом, уж не вовсе ли помешался муж, и что теперь делать, если так? Куда, например, сдают в Москве сумасшедших? Вестимо, в психиатрию, что в общих чертах понятно. Однако же, как их помещают туда? К кому ехать и что просить, какие заполнять документы? По дому поползут слухи... На работе – шепотки, подначки, неискренние сочувствия... Подруги, любопытные стервы, начнут выпрашивать... Ужас! Да и муж все-таки, не скотина чужая. Свой, говорящий муж, с руками, ногами и как положено. Ах, лучше бы он молчал!

Илья меж тем метался по комнате, норовя выскочить и накурлесить. Варенька преграждала ему путь, явив от себя самой нежданную силу духа и убеждения. А вечером, попросив присмотреть за больным соседа (того самого отмытого до блеска утреннего купальщика в белой майке), она выпорхнула в аптеку за валерьяной, которая ведрами шла сегодня, и очень скоро вернулась, испуганно теребя платок, ожидая увидеть худшее.

Но все было спокойно и даже мирно.

За несколько минут, что ее не было, между Ильей Сергеевичем и сторожившим его Матиасом Юховичем, супругом

Морошки Кааповны, состоялся разговор, от которого первый впал в совершенный ступор и теперь молча сидел у окна на стуле, едва не забыв дышать. Сконфуженный Матиас Юхович молча стоял у двери.

Не знаем, о чем именно шла в нем речь, но на коленях у Ильи лежала газета с сочной надписью «Правда», пестревшая заголовками. Заголовки эти, по всему судя, и даже отлично исполненные фотографии, нисколько его не интересовали, потому что взгляд страдальца был прикован к строчке в самом верху: «Понедельник, 26 мая 1930 г.».

Как и что еще случилось в тот вечер в жизни Ильи Гринева, нам достоверно неизвестно. Был он, пожалуй, муторным и мутным, полным дурных предчувствий, попыток разобраться в происходящем и так далее – как у всякого нормального человека, попавшего в неопикуемый кавардак.

Известно лишь, что в час, когда побронзовевшие солнечные лучи скользили с теплых московских крыш, оставляя город, он лежал, укрывшись с головой одеялом, и смотрел в уголок окна, мечтая поскорее уснуть, а проснуться уже в привычном мире, сойти по узкой лестнице вниз, выйти из подъезда и пешком пойти к кабачку на Большой Грузинской, где бы, с легкой руки, и заночевать за столом с графином – лишь бы не видеть перед собой упрямую цифирь «30», стоявшую перед взглядом.

Варенька, утомившись не меньше мужнего, сидела подле

кровати, и рада была, что он затих и больше не мучил ее расспросами. Ее клонило все больше в сон, но она одергивала себя, внушив, что если заснет, то Илья непременно выберется из комнаты и отколет что-нибудь несуразное. Соседи готовились к ужину, но она все не выходила. Раз-другой заглядывали спросить – Варенька только пожимала плечами.

Наконец, не в силах больше сопротивляться, она, как была весь день – в полосатом измятом платье – легла осторожно с притихшим мужем, вслушиваясь в его дыхание.

Обоих поглотил сон.

## День второй

Под утро в зыбком сумраке городской зари, наполнявшем комнату, Илья проснулся и сразу же потянулся за мобильником, чтобы посмотреть время. Ему снился спутанный колтуном кошмар – ночь, холодные переулки, люди с факелами, ищущие его. Спасаясь от них, он скрылся в канализации, где на него набросились крысы, которых он стал давить ногами, приплясывая в ледяной жиже. Короче, бесноватая ерунда.

Пошарив, вместо привычного «смарта» он схватил какой-то непонятный предмет – холодный, маленький и волнистый. Илья удивленно посмотрел на него: на ладони лежала бледная селенитовая рыбка с черным зрачком и насечкой «Пышминская Артель» вдоль брюха. Грубая копеечная поделка.

В голове галопом пронеслись картины вчерашнего.

В панике он кинулся к прикроватной тумбе: поверх кружевной салфетки стояло малахитовое нечто, изображавшее пучок водорослей, с двумя пустыми гнездами. Обитателя одного он держал в руке, второй отсутствовал. Рядом недопитый стакан, источающий запах валерианы. Никаких мобильных не было и в помине. На полу лежала проклятая газета, издевательски подмигивая заголовком.

Илья мученически застонал и зажмурился. В голове одна за другой вспыхивали болезненные картины произошед-

шего – какой-то ядовитый артхаус, которого не могло быть на самом деле. Сердце стукнулось о желудок.

Тут же рядом с подушки вскочила женская голова в спутанных каштановых волосах. Голова, прямо скажем, весьма-таки ничего, хотя и принадлежала гражданке, которой не могло существовать в настоящем – разве где-нибудь в доме престарелых в плюшевом чепце, или в чем там спят древние старухи по весне... На лице ее отпечталось беспокойство, глаза искали чего-то, а чего – боги не разберут. Полосатое платье сбилось. Открывшиеся под ним виды отметили всякую возможность поместить гражданку в ряду старух, даже за хорошую плату. Варенька (так ее, кажется, называли) была красавицей, а в утренних лучах – несказанной.

На секунду панические мысли Ильи перебило идеями совершенно иными, далекими от поиска правды-истины. Задний ум услужливо прошептал, что все, в сущности, чего он в жизни искал, тут, рядом с ним – и нечего валять дурака. Так суровые аргонавты однажды превратились в не менее суровых свиней, повстречавшись с прекрасной дамой на острове. Вопреки рассудку, в свином образе было что-то притягательно-эротичное. Начитанный Илья мысленно улыбнулся, представив себя щетинистым хряком, роющимся под дубом. Дуб, кстати, доверяясь известной басне, должен был возражать и читать нотацию. И на нем, возможно, имелась обнаженная русалка с дурным характером.

Илья обессиленно завалился навзничь, стараясь вообще

ни о чем не думать. Но ему, как на грех, думалось, да еще как – вьюга всяческих мыслей с воем носилась в голове, выла и корчилась, лишая его покоя. Глаза напряженно искали какую-то ускользавшую точку, в которой крылся ответ – но не находили, едва не лопааясь от напряжения.

Он вдруг даже решил, что умер, а теперь, как это описано у визионеров, духи морочат его рассудок, готовя ступень за ступенью к Страшному суду или перерождению в образе опоссума – за грехи земные... В теориях этих он не был силен, однако, волей-неволей, всякого нахватался и теперь не понимал сам – рад тому, что не особо вникал, или напротив, нужно было сосредоточиться на деталях. Что, товарищи? Как в тибетской мантре поется? Хором – за-пе-вай!

Между тем соседствующая на ложе гражданка окончательно пробудилась и требовала ответа:

– Илья, ты в себе?

Что на такое скажешь?!

– Вроде, да... – проямлил безумный муж, живо представляя себя опоссумом, пытающейся вдеть голову в ворот майки.

Тут он, сам от себя не ожидая, прыснул от смеха, прикрыв рот ладонью. Злополучная каменная рыбка полетела с постели на пол. Получилось несколько истерично, однако красавица с облегчением вздохнула и улыбнулась, глядя ему в глаза. Видно, вчерашний день ей тоже вышел не пряником.

Дико! Небывальщина! Кавардак!

Предательские мысли в голове стали настойчивее и громче, и сходились в сумме к нехитрой истине, к которой сводится все на свете, сколько бы оно не петляло: будь, что будет, а есть – как есть.

Илья повернулся на бок и обнял негаданную красавицу, обомлев от собственной смелости – все же гражданка, хотя прелестна, но ему незнакома – даром что лежит рядом.

«Ну и пусть!» – решил он про себя, целуя белую открытую шею.

В этот счастливый миг четырьмя этажами ниже дворник Азиз обихаживал закрепленную за ним площадь вместе с супругой – робкой покорной Гульсибяр, которую ни разу не видели говорящей с кем-нибудь, кроме мужа, подобранного ей родственниками в Казани. Брак считался весьма удачным: муж работал в Москве, имел жилплощадь и вообще – твердо стоял на своих ногах. Девушка была милой, воспитанной в строгости, не обученной ничему, кроме дел домашних. (С образованной-то женой, известно, нахлебаешься безобразий – не должно жене быть умнее мужа, а то не брак, но одна морока!)

Примерно половина двора, влажного после ночного дождя, была на совесть подметена. Вторая, стоящая в тени дома, терпеливо дожидалась своей очереди – Азизу не хотелось уходить с солнца. Был редкий в его жизни момент, когда в голову лезли отвлеченные мысли. Сейчас он вспоминал

детство: как скакал на лошади по лугам, как тепло и весело ему было. Если бы вернуться туда на час...

На видном месте в центре двора на люке восседал кот, но его не гнали – Калям из четырнадцатой квартиры, свой, проверенный и надежный, считался «котом в законе».

Мечтой Гульсибяр была шуба-мутон и расписной самовар в райских птицах, которому стоять на подносе, наполняя хозяйское сердце гордостью. Не все поймут, что такого распрекрасного в самоваре, тем более у нее имелся уже один (без птиц, правда, но вполне приличный) – однако, мечта есть мечта. Шуба – это понятно; без шубы Москве приличной даме совсем никак, хоть супруге дворника, хоть актрисе – срам показываться на людях.

К слову скажем, в коммунальном плане чета Садыковых жила в условиях не шикарных, потому что размещалась в подвале, но весьма достойных: в одной из пяти всего отдельных квартир во всем доме, четыре из которых в верхнем этаже занимало партийное начальство. Остальные шли с подселением. Что наверху, как говорится, то и внизу. Может, при такой диспозиции, и впрямь нужны шуба и расписной самовар – лицом не ударить в грязь? Паче грязь эту Азиз собственноручно выметал вон.

Намечтавшись вдоволь, высокий и грузный он снова запыхтел паровозом, выдирая из лужи сор огромной метлой, напоминавшей средневековое оружие – что-то вроде бердыша или глефа. Был Азиз всклокочен, потен, по пояс гол,

в портках и брезентовом длинном фартуке – сущий багатур, вышедший стяжать славу.

Гульсибяр поглядывала на него с робким восхищением – все же подругам достались не такие красавцы. То, что уже не молод, это даже лучше: серьезней, домовитей, меньше будет гулять. Скорее бы завести детей...

Орудя совочком и вспушенной короткой метелкой, она смотрелась рядом с мужем худосочным побегом у бычьих ног и была, за извечную женскую провинность (какую, выберите сами, ибо их не счесть), приставлена к скрипучей тележке с коробкой, в которую муж лопатой собирал мусор.

Над домами пронеслись птицы – тысячи чернокрылых птах, на миг перекрывших небо. Гульсибяр подняла глаза, да так и застыла, глядя на них из мокрого колодца двора.

– Что это, Азиз? – спросила она по-татарски.

Дворник глянул на нее исподлобья, зевнул и ничего не ответил. Кто их знает, птиц этих? – летают, гадят...

Калям смотрел на них с аппетитом и даже приподнялся на задних лапах. Хвост его беспокойно дергался. Кот он был солидный, понапрасну с теплого не вставал, но такого буйства закуски не мог снести и ринулся опрометью в квартиру – выпрашивать второй завтрак.

# Изотич

Жилище древнего как латынь Изотича находилось в первом этаже в доме на углу, там, где заворачивает трамвай вблизи известного всей Москве бывшего здания Кожсиндиката<sup>13</sup>. Ранее еще, как подсказывают историки, там красовался купол над панорамой, которая теперь на Кутузовском<sup>14</sup>.

Ему действительно перевалило за сотню и в поликлинике его карта лежала на почетном особом месте – толстая как Ветхий завет, глядя на которую регистраторша невольно спрашивала себя, не сегодня ли ее отдавать в архив? Однако настырный Изотич снова и снова приходил, забирал из окошка карту и шаркал за направлением к терапевту, чтобы сдать кровь из синюшной жилы, считать кардиограмму и проверить пошаливающие почки. Никаких, к слову, отклонений, кроме тех, что предназначены самим возрастом, анализ не выявлял, отчего он становился задумчив, поскольку уже давно в приступе меланхолии собирался навестить обеих своих жен, почивших десятилетия назад.

Первая была женщиной восточной, образованной и много на него повлиявшей. Дети их жили теперь в Японии, оба – сын и дочь, занимались какими-то компьютерными кунштю-

---

<sup>13</sup> Москва, Чистопрудный бульвар, 12А, строение 1.

<sup>14</sup> Панорама Бородинского сражения Франца Рубо (1856 – 1928).

ками, в которых он ничего не смыслил. Видел он их в последний раз... – лет двадцать уже прошло.

Вторая, казачка – огонь, тараторка, живчик, вечно тормозившая его, с которой он жил бездетно – изменяла, уезжала с кем-то внезапно, давала страстные телеграммы, возвращалась, что-то бесконечно устраивала. Он помнил только ее лицо и общее мельтешение, от которого иной раз хотелось зажмуриться, а иной – писать навзрыд вирши.

Изотич любил их обеих сильно. Но «разлука длинней любви», как высказался поэт<sup>15</sup>...

Впрочем, не нужно думать, что старик особенно терзался этой разлукой теперь, по прошествии многих лет, будучи сам у порога жизни. Бывали, не скроем, вечера, когда он тосковал об ушедшем, сидя на стуле у окна в кухне или на скамье у пруда с расположившимся на нем рестораном.

Незнакомая, лившаяся с террасы музыка, не подсказывала ему слов, отчего он чувствовал себя забытой ненужной вещью, за которой не вернется хозяин. Девушки за столиками кутались в пледы и смеялись. Парни курили с развязным видом. Дети с бережка щипали уткам багет. Звякал трамвай и шуршали шины невиданных, похожих на снаряды автомобилей, не желавших признавать родство «Победы» и «Москвича» – как эти девушки, дети и даже утки не признавали родства наблюдающего их возню реликта, пережившего целый век. Может быть, лишь деревья, из самых ста-

---

<sup>15</sup> Из «20 сонетов к Марии Стюарт» Иосифа Бродского (1940 – 1996).

рых, еще готовы были шептаться с ним, но в таком возрасте уже не удивишь ни новостью, ни воспоминанием, ни надеждой, ибо остается только одно – тонкое как батист настоящее, которому нет дела до шелухи.

Вообще же, исключая редкие моменты уныния, не осенью, зимнюю уже пору своей жизни бывший киноредактор проводил в ровном созерцании мира внутреннего и внешнего, все менее отличая второй от первого, наслаждаясь повседневными мелочами и целой коллекцией сновидений, которые научился с годами каким-то образом подзывать, словно безродную шавку из подворотни.

Вот он идет по набережной у Зимнего – с тростью, черным псом и кокеткой, прячущей глаза под вуалью; Нева шепчет влажно у заиндевелых камней и снег скрипит под хромовым сапогом... Вот бежит по набережной Днепра, роняя на ходу «петушок», трет его рукавом от налипшей грязи, а отец ругает его за спешку... Иркутск, экспедиция Культпросвета, лекция в чьем-то просторном доме, где пахнет шерстью и скорым ужином... Премьера в Одесском оперном... Впечатления бывшие и вымышленные мешались в воображении, делаясь все живее.

Однако, старческий сон короток – оставались еще утра, дни и бесконечные долгие вечера. Страстишка Изотича к антикварным лавкам и собирательству, и привычка к долгим пешим прогулкам награждали его занятием в часы бодрствований, пустоты, когда, лишенный цели и расписания, он был

предоставлен самому себе – покуда Богу не был угоден.

Его обветшалое жилище было завалено безделушками, старыми томами и акварелями, кубками, альбомами и прочая в том же духе. Был там глобус времен Петровских с неверно отраженной Америкой. Лоцманские трубки, полированные в Голландии. Шпага, даренная царем адмиралу, отмеченному в учебниках, – богачу и головорезу, про которого никто уже не узнает правды. За эту шпажку, усыпанную алмазами, Изотича ловко могли пристукнуть, никто бы и разбираться не стал – только кто заподозрит такое диво у старого гриба под диваном?

Не копеечное богатство занимало большую часть квартиры – пол, ящики, столы, стулья, грудилось на шкафах, почти не оставляя прохода. Этакая сумма вещей на попечении старого человека не могла не быть пыльной, путанной, похожей отчасти на помойку. Однако, отдадим должное, всюду, куда Изотич дотягивался, царил относительный порядок. Ни одной брошенной в небрежении тарелки не стояло у него в кухне, как бывает у давних холостяков. Немногая посуда была чиста, сложена в проволочный поддон, а стол вытерт и лишен пятен. Беспорядок Изотич не поощрял. Из-за этого никогда не заводил кошку, хотя опасался урона от мышей. Не доверял он и соцработникам, норовившим, в его убеждении, сцапать на червонец, дав на копейку.

Каждое утро он, просыпаясь и не враз вставая с козетки, где за ночь на него напозлали граммофонные пластин-

ки и какой-нибудь потрепанный каталог оказывался поверх подушки, медленно шел на кухню, добывал из морозильника два ледяных брикета, на одном из которых готовил чай, а на втором варил овсяные хлопья в кастрюльке годов тридцатых. Сонно поглядывая в окно, он съедал их с ложкой постного масла, запивал чаем и тут же, фыркая, с удовольствием умывался, слушая стук трамваев, ломающих колею.

Что до новомодной аппаратуры, из которой, стоит кнопку нажать, узнаешь все новости на планете, то Изотича они давно уж не волновали – этого добра он за долгую жизнь наелся. Пусть на новые ворота смотрят молодые бараны, твердо решил он, щелкнув последний раз телевизором году еще в девяностом, грубо прервав генсека, сулившего «перестройку» и «ускорение». «Перестройка» ничего хорошего не добавила, а вот «ускорение», действительно вскорости наступившее, чуть не свело его экспрессом в могилу, потому что денег не хватало даже на хлеб. До сих пор им сохранялся в раме над шифоньеркой выводок анемично-бледных талонов Главного управления торговли – на хозяйственное мыло, табак и водку, отложенные им некогда *для истории*. И эта история миновала. Изотич выжил в который раз.

После завтрака он снимал с крюка вечное драповое пальто, подбитое окаменевшим ватином, надевал ботинки из свиной кожи и в любую погоду шел из жилища вон, сначала выходя в узкий как губа дворик, затем на бульвар, и обычно шел вдоль Покровки, пока куда-нибудь не сворачивал,

смотря по текущему интересу. Никакой причины для этого не существовало, кроме нежелания оставаться дома. Гуси и грачи улетают к югу. Олени идут за солнцем. Изотич ходил гулять. По сезону прилагались калоши, шапка, шарф в «птичку», намотанный на тощую шею, рукавицы и стеганные штаны, в гололед – осиновая палка с гвоздем.

Теперь же в майский погожий вечер ни калош, ни рукавиц на нем не имелось, пальто на впалой груди было по-матросски браво расстегнуто, обнаруживая свитер домашней вязки, подаренный соседкой-поклонницей с четверть века назад. Женщины всегда к нему были падки, но женится в третий раз он не стал – хватило.

В тот день, покинув антикварную лавку на Арбате, он медленно прошел по Воздвиженке, пересек Маховую, едва не угодив под автобус, и теперь отдыхал в Александровском саду, готовясь к долгому переходу. Пары часов достанет, чтоб к полуночи вернуться домой. Главное тут – добраться до Маросейки, вырулив на прямой фарватер.

Кварталы вокруг Ильинки он не любил, старался пройти их как мог быстрее. Были они слишком официальные и на вкус его бесприютны. Горбатое здание Минфина вообще будило нехорошее чувство, какое бывает, когда проходишь у несгораемой кассы, в которой, точно тебе известно, вместо ассигнаций – журналы учета отпусков и выдохшийся «Кизляр». Старческая муть перед глазами смывала четкие линии, даже в яркий полдень окуная все в коричневые

зыбкие сумерки – но он-то, хочешь не хочешь, *знал*, как он выглядит, Минфин этот! Еще дальше, впрочем, Изотич держался от мрачных бастионов Лубянки, о которых, несмотря на сглаженную годами память, вовсе не хотел думать.

Теперь Изотич сидел в Александровском саду и сквозь сладкую дрему наблюдал за нервным гражданином лет сорока, бывшем напротив через аллею, губы которого шевелились в беззвучном разговоре с самим собой. То и дело между ними проходили другие люди, врозь и купами, отчего картинка дробилась на неравные кадры, как когда-то в монтажной.

Было в этом человеке что-то знакомое, но что именно, Изотич не мог припомнить.

Вдруг его покой прервали грубейшим образом.

– Чем помочь, отец?!

Перед ним стоял мужик с пузом, выпирающим из-под кожаной черной куртки. Голова – мячик. Крокодиловые туфли с фальшивой пряжкой. Короче, во всей красе!

Старик по-черепашии посмотрел на него, не соображая, что ему нужно, и уже готов был ответить, что не курит, если об этом речь, и в лотереях не участвует...

– Помочь чем? – повторил мужик, засовывая лапу в карман. Был он навеселе и держал под локоть тощую как стержень гражданку в цветастой блузе, смотревшую на старика с огорчением. – На вот, отец, пригодится на черный день, – и сунул ему в ладонь вчетверо сложенную бумажку. – Будь

здоров!

Не дожидаясь «спасибо», пузан с подругой бодро отвалил в сторону и уже через секунду торговался с продавцом «красноармейского» скарба, просочившимся в аллею мимо охраны, когда старик собрался ответить, что ему ничего не нужно.

Посмотрев на деньги, Изотич почувствовал себя странно. Незнакомцы с ним редко заговаривали, тем более не стремились чем-нибудь одарить. Напротив, не раз и не два становился он жертвою «щипачей», орудовавших в трамвае. Однажды под Володарском пережил открытый разбой, едва спасся на мотоциклете с киношной кассой, и еще до этого – в экспедиции по Двине в тридцать втором, когда бродили по северам бесфамильные отчаянные людишки. Но чтобы давали деньги?

– Неужто на нищего стал похож? – дернул он щекой, бросая бумажку под скамью. Затем встал и пошел, ссутулившись, сквозь толпу, поднимая от вечерней свежести воротник.

Нервный гражданин, что сидел напротив, за это время куда-то делся.

Украшенный зеленью и витринами город торжествовал. В толкотне необыкновенной царил многоязыкий гомон, шедший от строительства вавилонского и, шажок за шажком, добравшийся в итоге сюда, в столицу не *восточной* и не *западной* стороны, а, как был убежден Изотич, *северной*,

где б во времена Соломона не стали даже селиться.

Миновав ряды «мерседесов», блинные лотки, мрачный утес Минфина (тьфу на него!), зады Политехнического музея и уже пройдя немало по Маросейке, он свернул у нарядной церкви в заезженный тесный двор.

Дел у него здесь не было и не могло быть. В храм Изотич вообще ходил редко, молился дома, уверенный, что Бог найдет его и на кухне. Особого вида постройки тоже из себя не имели, а единственной причиной, почему старик оказался там, было не угасшее за век любопытство, водившее его немало по свету – от предгорий Лхоцзе<sup>16</sup> до загаженной щели на Юшет<sup>17</sup>.

В будке за стеклом шевельнулся ворон-охранник, крикнув, чтобы тот убирался.

Изотич вздрогнул и обернулся, не ожидая такой засады. Под ногой что-то предательски скользнуло, взлетел и разбился над головой светящийся бледный шар – фонарь или круг луны, он не разобрал, навзничь упав во тьму.

Открыв глаза, Изотич обнаружил себя лежащим под медной рогатой люстрой, свисающей с высокого потолка. Там же вокруг нее по краю лепной розетки парили щекастые путти с луками, наведенными по углам – то ли с разбойной целью,

---

<sup>16</sup> Лходзе (8516 м) – гора в Гималаях. Четвертый по высоте восьмитысячник мира.

<sup>17</sup> Юшет (rue de la Huchette) – улица в Париже.

то ли разя по сердцам влюбленных, что также квалифицируются разбоем, но приятным и поощряемым<sup>18</sup>.

Так он лежал, глядя в потолок, минуту или две, прислушиваясь к себе и к обстановке вокруг. Под полом, вестимо, этажом ниже, трижды зычно пробили часы. Далеко и глухо хлопнула дверь, оборвав шаги. Лошадь процокала за окном. Уютно пахло корицей и еще чем-то. Дурного в теле не ощущалось, кроме варьете в голове и, может, легкого голода, сосущего под желудком.

---

<sup>18</sup> Путти – те еще стрелки, часто попадают пониже сердца.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.